

О закрой свои бледные ноги

Валерий Брюсов

Глава 1

ЩЕЛОК, ЛАВАНДА И ЖИР

Вся эта полифония ночи...

Если это не музыка, то что это? Сон?

О кошмарах пока говорить рано.

От кошмаров порой помогают таблетки.

Но порой и не помогают, увы...

Самый глухой темный час, но Москва не спит. Москва вся в рекламных огнях, фонарях, осеннем дожде, облаках, разорванных ветром в клочья, звездах, которых не видно.

Словно огромный оркестр настраивает инструменты — шум машин с Андроньевской площади, грохот и звон трамвая, натужно поднимающегося в горку Андроньевского проезда. Музыка по телевизору, включенному где-то на нижнем этаже кирпичного дома, где не спят старики, мучаясь бессонницей.

Крики ворон, угнездившихся в кронах старых, словно нечесанных, лохматых тополей в саду церкви.

Ворон будит по ночам яркий свет рекламного панно, и они хрипло каркают, словно надсадно кашляют.

А может, это кашель за стеной...

И звон. Легкий, тонкий, как звук челюсты, звон хрусталя.

Хрустальные подвески на люстре? Да, и они — звучат, еле заметно подрагивая. Это от того, что трамвай, лязгая и стуча колесами, опять поднимается в горку от Волочаевской улицы к монастырю.

Волочаевская улица — вся в серых многоквартирных домах, дворы закрыты шлагбаумами. Переулки в этот час тихие, словно мертвые. И свет горит лишь в редких окнах.

А подвески люстры под высоким лепным потолком звенят, зовут в ночь.

И не только они. Изящные старинные хрустальные флаконы из-под духов, собранные, выставленные на полках французского шкафа-витрины, подают свой голос — звон каждый раз, когда по Андроньевскому проезду грохочет трамвай.

Когда в этой комнате, на паркете, покрытом лаком, прыгали, плясали, играли в догонялки дети, флаконы за стеклом шкафа-витрины тоже пускались в пляс.

Разноцветное стекло — розовое, синее, золотистое, прозрачное. Но это всего лишь пустая тара. Эти флаконы никогда не были заполнены настоящими духами.

Потому что ФАБРИКА свои духи так и не создала.

На фабрике варили мыло и делали крем. Производили лечебную косметику.

А потом много чего другого, потому что время шло, все менялось, в том числе спрос и конъюнктура.

На полках шкафа-витрины и сейчас можно увидеть прелестные жестяные коробочки для мыла, украшенные пухлыми херувимами, пленительными пышнотелыми дамами с букетами роз и просто цветами — каскадом, водопадом цветов, намалеванных прямо на жести.

Хризантемы... Это мыло «Гейша».

Розы... Это мыло «Шираз».

Сирень... Ох, это конкуренты — мыло «Персидская сирень», фабрика Брокера.

Брокеру в этих стенах всегда желали удавиться в намыленной петле. Только вот чтобы мыло для веревки было своим, фабричным. Потом это, правда, стало неактуально, потому что Брокер сгинул сам по себе.

Фиалки... Это мыло «Парма».

Полынь... Да, да, полынь, такая проза, трава... Но это знаменитое мыло «Луговое», самое демократичное и популярное после «мыла от перхоти». Его покупали когда-то все: и гимназисты, и офицеры, и барышни, и сановники, и купцы, и мещане, и актеры Больших и Малых Императорских театров — и даже на Хитровку его привозили в целях благотворительности, и в простонародные бани.

Там такая зеленая жестяная коробочка и на ней трава — полынь. А для бедных его вообще заворачивали в грубую бумагу.

Гвоздика... Мыло для господ «Осман-паша».

Мак... Мыло «Лауданум».

Его потом хотели со скандалом изъять из производства, потому что опий есть опий, даже в мыле.

Лаванда... Мыло «Прованс».

И оно, это мыло...

О, не надо, не надо, не надо, нет больше сил, когда это снится!

О, пожалуйста, не надо, я вас прошу, я вас умоляю!
Это же так страшно.

Эти кошмары... Вот опять...

Звон хрустала.

Грохот трамвая.

Темная ночь.

Стон.

Женщина в широкой, как море, двуспальной кровати заворочалась, заметалась на подушках. Она стонала, почти кричала во сне. Кричала от страха и боли.

Электронные часы-будильник на широком мраморном подоконнике показывали 3.33.

Колдовское время, когда открывают глаза все ночные чудовища, все страхи, все наши самые тайные

кошмары и фобии. Жуткие, желтые, горящие во тьме глаза... И плятятся, плятятся из тьмы, скалясь окровавленными клыкастыми ртами.

Эти твари...

Кошмары...

Женщина в кровати повернулась на бок, подтягивая колени, корчась, сжимаясь в позе эмбриона, словно пытаясь спрятаться, зарыться в подушки и матрас. Одежда свесилось до пола.

Пустая темная спальня. Незашторенное окно. На ковре, на самой середине, сброшенные лодочки «Шанель». Сумка «Шанель», открытая, словно в ней лихорадочно что-то искали перед сном... Что? Конечно же, таблетки, чертовы пилюли...

Голубое платье из тонкого кашемира, кружевной лифчик, трусики — все комом на полу. Тут же у кровати — пустая бутылка белого вина «Шабли».

Все это — самая обычная картина для этой спальни. Как и бутылка, как и рассыпанные по паркету таблетки.

Но эти средства давно уже не помогают. Ни черта вообще не помогает, когда вот так кричишь, стонешь и корчишься во сне, потому что...

Сон...

Кошмар...

Он такой вкрадчивый...

Он такой реальный, такой осязаемый.

Такой горячий, горячий, как вар.

Вар и пар. Щелок и жир. И еще лаванда, эта чертова лаванда, ей так пахнет, так воняет!

Так воняет этой душистой лавандой — гордостью Прованса, что глаза слезятся и в горле першит.

И вроде как ничего не видно поначалу в этом ночном кошмаре. Потому что пар... Едкий пар наполнил фабричный цех.

Но дальше все же можно разглядеть главные детали.

Железные балки под высоким потолком цеха, еще не тронутые ржавчиной. И на них — стальные цепи с крюками, чтобы цеплять формовочные емкости и отправлять по балкам, как по рельсам, в формовочный цех.

Пол, выложенный крепкой каменной плиткой. Плитка вся мокрая. Потому что чаны полны, в них все кипит и бурлит и выплескивается наружу, словно из ведьминового котла.

Три огромных чана. Щелок, жир...

Жир, щелок...

Брикеты лаванды тут же в железной тачке, но лаванду в чаны пока еще не добавляли. Это позже.

Нечем дышать от всепроникающей вони. Как бы описать эту вонь поточнее? Ведь кошмар — он весь соткан не только из зрительных образов, но и из запахов. И это самое страшное. Когда женщина просыпается с воплем ужаса, она все еще чувствует этот запах, словно вкус на языке.

Щелок — запах золы, разведенной в кипятке.

Жир...

А вот тут сложнее. Потому что вонь такая, словно варят крепкий бульон. Варят какое-то мясо в одном из клокочущих чанов.

Во сне она всегда видит то, что там плавает.

Мутная жижа. Но так всегда на первых этапах, когда варят мыло.

В чане что-то булькает, с глухим треском лопается. Это лопаются бедренные кости или ребра.

Или лопается череп, и кожа и плоть сходят с голой кости клоками.

Из кипящей клокочущей воды показывается рука — чудовищного вида, багровая, вываренная, со скрюченными пальцами.

Багровая пятка, колено, плечо.

Голова.

И тут же откуда-то со дна выныривает еще одна голова в ореоле спутанных темных волос.

Пустые глазницы. Сваренная заживо плоть.

Женщина в кровати кричит во сне так громко, что ее, наверное, слышно на улице. Кричит так, словно ее пропороли штыком.

Но Безымянный переулочек в этот ночной час пуст.

Безымянный переулочек хранит свои тайны.

И любит кошмары.

И тайн и кошмаров у Безымянного переулочка немало.

Глава 2

РЕЦЕПТ ПАРФЮМЕРА И БЕЛЫЕ ГОЛУБИ

19 декабря 1907 года

Яков Костомаров проснулся в своей спальне от шума — внизу в детской громко плакал ребенок. Это сын покойного брата Иннокентия Костомарова — крошка двух с половиной лет.

В детской уже всю суетились няньки, ими командовала вдова брата. Россыпь быстрых шагов по лестнице вниз — это семилетняя дочка брата, не слушая свою гувернантку-француженку, выскочила из классной и ринулась в детскую. Она не терпела, когда малыш плакал, и всегда принимала самое активное участие во всей этой чисто женской домашней суете.

По булыжной мостовой Андроньевского проезда, спускаясь под горку, громыхали пролетки.

Яков Костомаров сел в постели, спустил ноги в шелковых кальсонах на персидский ковер и почесал всклокоченную потную голову. Потом лениво потянулся к золотым часам — брегету, свисавшему из кармана жилета, небрежно брошенного на спинку кресла.

Одиннадцать часов.

Когда был жив отец, когда был жив старший брат Иннокентий, Яков никогда не вставал так поздно. Шесть утра — они все уже были на ногах. Фабрика диктовала свой рабочий график. Купцы первой гильдии Костомаровы поднимались с первыми петухами. Яков и теперь так поступал, сделавшись после смерти отца и брата единоличным владельцем фабрики.

Но в это утро проспал. Тому имелась причина. Даже две. Вчерашний поздний банкет в Купеческом клубе и... сегодняшней длинный многотрудный день, который потребует много сил. Да, немало сил. Поэтому купец Яков Костомаров запретил себя будить в это утро.

Суббота. Фабрика работала и по субботам. По воскресеньям рабочие отдыхали. А по субботам Яков Костомаров установил восьмичасовой рабочий день вместо десятичасовой смены в будни.

Он поднялся, наступил на жемчужную запонку, выпавшую из крахмальной сорочки, брошенной там же, где и жилет, и брюки английского сукна в полоску. Он не обратил на запонку никакого внимания — горничная положит на камин, когда станет делать уборку в спальне. И прошел в туалетную комнату. Уборную по английскому принципу — «дерни и смой» — оборудовал в их доме в Безымянном переулке еще покойный отец.

В туалетной имелось окно. Оно выходило в сад, на задний двор. За голыми деревьями были видны крыши цехов фабрики — отсюда и до самой железной дороги. А там уже начинались цеха и бараки завода Гужона.

Налив в фаянсовый таз воды из кувшина и ополоснув руки и лицо, Яков Костомаров взял в руки кусок мыла, лежавшего рядом с тазом в фарфоровой мыльнице.

Мраморное мыло. Без всяких цветочных отдушек. Собственного производства. Его любимое. Почти такая же гордость их костомаровской мыловаренной фабрики, как и мыло от перхоти, сделавшее его отца богатым и знаменитым промышленником. На базе этого мыла брат Иннокентий придумал минеральную пудру. И они начали продавать специальные косметические наборы в одной коробке — мыло и пудра. Потом к этому добавились еще крем и румяна.

Брат Иннокентий тоже весьма прославился — эти-ми вот наборами. Они заработали на них два миллиона. Но брат скоропостижно умер от инфаркта в самый разгар московского восстания, когда на Красной Пресне палили из пушек. И теперь его черед, Якова, продвигать новые продукты костомаровской парфюмерии. Мыло — это отец, пудра и наборы — брат. А он должен прибавить к этому духи. Неповторимый аромат. Недаром же он учился во Франции на парфюмера. А до того почти пять лет изучал химию в Кембридже и Марбурге.

Он вышел из туалетной, на ходу надевая домашний, расшитый золотом бухарский халат и подпоясываясь. Глянул в окно.

Безымянный переулочек. На той стороне — новый дом из красного кирпича. Они специально построили его для инженерно-технического персонала фабрики. Просторные пятикомнатные и шестикомнатные квартиры занимали целые этажи. А всего этажей — шесть. Высокий дом для Безымянного переулка. В этом доме жили инженеры-немцы. Яков Костомаров им хорошо платил. Они знали свое дело, следили за производ-

ством, оборудованием. И в прочие дела фабрики не влезали.

Если глянуть из окна налево, то можно было увидеть стену Андроньевского монастыря, а рядом по берегу ручья Золотой Рожок — дощатые бараки, там жили рабочие. Никакой скученности, никаких грязных нар, помещений трущобного вида, которые имелись в бараках соседнего завода Гужона. В бараках жили по две-три семьи. Всего двадцать девять человек — рабочие фабрики вместе с женами, кто до сих пор был женат.

Они и составляли Корабль. Что-то вроде общины, куда чужих не допускали.

Яков Костомаров причесался перед зеркалом. Несмотря на свои тридцать лет, он уже начал лысеть. И борода почти не росла. Он ощущал сухость и першение в горле. Делами Корабля он займется поздним вечером. После смены рабочие сначала пойдут в баню — он еще накануне распорядился, чтобы туда привезли в достатке «Лугового» и «Дегтярного» мыла.

А у него на два часа назначена встреча с Семеном Брошевым, которому он в принципе ничего плохого не желает. Нет, нет, исключительно хорошие пожелания...

Семен Брошев почти закончил свои метания, духовные искания, вылез наконец-то, выпростался, как младенец из последа, из своей долгой тяжелой депрессии и решил обрести новый духовный путь.

Решил убелиться.

То есть примкнуть к Кораблю уже не на словах, не в пустой болтовне, а по-настоящему. Плотно.

Ну что ж, Яков Костомаров был этому рад.

Но в горле...

В сердце...

Ах нет, все же в горле и ниже, там, за грудиной, что-то саднило и свербило, замирало и даже испуганно екало.

Нет, это не от трусости и малодушия, а всего лишь от выпитого вчера на банкете в Купеческом клубе вина. Вино было превосходное, но он вообще очень редко пил в силу своей приверженности Кораблю. Только в целях маскировки, чтобы не заподозрили. Нет, и из удовольствия тоже, потому что вино было превосходное. И банкет вчерашний, который Купеческое собрание давало в клубе на Большой Дмитровке в честь бывшего генерал-губернатора Москвы адмирала Федора Дубасова, тоже, как говорится, удался на славу.

Если бы не один инцидент в курительной.

Он и испортил все впечатление от торжества.

Яков Костомаров опустил в кресло у окна. Глядел на Безымянный переулок. Завтракать ему не хотелось, да его и так ждет поздний завтрак с Сеней Брошевым, единственным сыном и последним в роду наследником купцов Брошевых-Шелапутиных, владельцев фармацевтической фабрики на Вороньей улице и двух медных рудников на Урале.

Выпитое вчера на банкете вино отзывалось кислым вкусом во рту. Яков Костомаров вспомнил, как они все сидели за длинным столом в банкетном зале — цветы в хрустальных вазах, огни хрустальных люстр, богемское стекло, серебро и...

Этот скрипучий звук, когда лакей вкатил деревянное инвалидное кресло с бывшим генерал-губернатором Москвы Федором Дубасовым.

И они увидели не бравого адмирала, железной рукой подавившего московский бунт, а тощего старика с жалко трясущейся головой и скрюченными, изуродованными ногами.

Вспомнил, как они встали все, приветствуя Дубасова. Вспомнил громкий тост, подхваченный вроде бы с единым всеобщим воодушевлением: «Здоровье его превосходительства!»

Вкус вина...

И шепот, тихий и ехидный, соседей справа, наследников клана Боткиных и Солдатенковых:

«Полная развалина... А он думал, ему так все с рук сойдет, что он тут в Москве натворил. Сколько народа расстрелял! Бог — он все видит. И с палачами не церемонится. Держу пари, двух лет не протянет, откиннет копыта».

Полной развалиной в инвалидном кресле бывший генерал-губернатор столицы Федор Дубасов стал после двух покушений эсеров. Его изрешетили пулями, как мишень в Таврическом саду, и еще бросили бомбу, осколки повредили позвоночник и ноги. При нем постоянно дежурил лакей и носил его на руках, как дитя, с инвалидного кресла в уборную на горшок.

Дубасова, конечно, мыли и меняли ему белье, но этот запах застарелой мочи — результат недержания — Яков Костомаров чувствовал его, как и все в этом зале Купеческого клуба. Его бы воля, он намылил бы трясущегося генерала мылом собственной фабрики прямо там, за столом. Чтобы от него не воняло.

— Спасибо, спасибо! — Растроганный Дубасов кивал трясущейся головой. — Спасибо, Москва. Спасибо, что не забываете меня!

На глазах его выступили слезы. Официанты начали обносить гостей за столом закусками и вином.

Все ели и пили и как ни в чем не бывало провозглашали тосты.

А в конце — уже в курительной клуба — случился громкий инцидент.

Этот штабс-ротмистр Саблин из жандармского управления — в парадном мундире, красавец-брюнет с родинкой на правой щеке и пудовыми кулаками...

Наверное, выпил лишнего, оттого и позволил себе... Может, нервы подвели, а то с чего бы он вдруг выкинул вот такой финт на глазах гостей Купеческого клуба?

Яков Костомаров не видел начала этой громкой ссоры в курительной. Его привлек шум, и он вместе с другими оказался там уже постфактум.

Красавец ротмистр Саблин с искаженным лицом и сверкающими гневом глазами схватил за грудки какого-то лысого господина в золотом пенсне и возил его туда-сюда, как тряпичную куклу, выкрикивая:

— Думская моррррррррда! Сссссссволочь! Вы закон приняли, чтобы в толпу стрелять! В толпу, где женщины и дети, — стрелять без ограничений! А мы, жандармы, полиция, это делай, расхлебывай! — Дальше он кричал уже матом, возя господина в пенсне спиной по подставке с курительными трубками. — Думская сволочь! Вы такие законы принимаете, а нам, полиции, их исполнять! Я два года не сплю, слышишь, ты, гадина, я два года не сплю — слышу их крики там, в типографии на Валовой! Когда мы стрелять по ним стали по вашему иудиному закону, по вашему приказу!

— Это не мы! Отпустите меня! — визжал, извиваясь в железных руках ротмистра, господин в очках. — Мы дали гражданские свободы, мы хотели...

— Гадина проклятая! — Ротмистр Саблин его не слушал, он занес свой пудовый кулак, готовясь разmozжить изуродованное страхом лицо думского депутата. — Я два года с тех пор, с декабря пятого, не сплю! Они мне в уши кричат от боли, от ран! Мы их там по вашему указу расстреляли, а там барышни были, дети в этой типографии! Слышишь ты, у меня руки по ло-

коть в их крови! Я проклят навеки! Мне что, пулю в лоб из-за этого? А ты, думская морррра, чистеньким хочешь быть?! Чистоплюем? Убью! Слышишь ты, гадина, я тебя сначала убью за это за все!

Яков Костомаров понял, о чем он так кричит. О самом страшном и кровавом эпизоде — о штурме полицией и войсками типографии Сытина на Вальной улице. Там была такая каша! И рабочие стреляли в полицию, и она не церемонилась. Здание типографии начало гореть. И потом осталось столько трупов... Их развозили по всем больницам в анатомички — в Первую градскую, в Четвертую градскую. А еще было среди расстрелянных много женщин: барышни-агитаторши, юные революционерки — курсистки. И дети... Дети как из семей восставших рабочих, так и маленькие уличные разносчики газет, работавшие в типографии.

Их всех тогда расстреляли.

Без разбора. И старых и малых. И женщин и детей.

А теперь этот жандарм, пьяный, кричит, что он не может спать, слышит их крики. Их кровь на его руках.

Ротмистр Саблин с силой ударил думского депутата по лицу, и тот завизжал, как заяц. А из дверей раздался возглас бывшего генерал-губернатора Москвы Федора Дубасова:

— Вольдемар! Что ты творишь! Прекрати, ты пьян!!!

Вроде как Саблин был какой-то его дальний родственник. А вот нате же — попер против, причем прилюдно.

— А что они со мной сделали! — кричал из своего инвалидного кресла Дубасов. — Ты посмотри, что они со мной сделали! Я калека! Они ведь и в тебя тоже стреляли там, на улицах Москвы!

Члены Купеческого клуба, вначале опешившие, малость приободрились. Кинулись разнимать схватив-

шихся, кликнули лакеев. Но со здоровяком Саблиным не так легко было справиться. Он бил думского депутата под дых и по сопатке. А тот все визжал, что они без высочайшего соизволения в Государственной думе пикнуть не смеют. Не то чтобы закон принять, разрешающий палить в толпу и в женщин.

Наконец их разняли.

Саблина куда-то увели. Возможно, на гауптвахту. Полицию и жандармов вообще сажают на гауптвахту? Яков Костомаров таких подробностей не знал.

Но от происшедшего у него в душе остался тяжкий осадок. Его брат Иннокентий... он схлопотал разрыв сердца как раз тогда, в пятом году, в разгар этих трагических событий, потому что был...

Брат был чувствителен, сентиментален и добр и ненавидел насилие. И всех жалел. И свой бизнес, фабрику, собственное дело, и наше бедное Отечество, и полицию, и непокорный народ, и... В общем, всех без исключения. У него осталось двое маленьких детей-сирот.

Вот так.

В курительной сначала воцарилось неловкое молчание, потом все громко заговорили, заспорили, как это и бывает. Начали что-то друг другу доказывать:

— А вы что предлагаете?

— А как надо было поступить тогда, в декабре пятого? Миндальничать с бунтовщиками?

— Но не расстреливать же детей! Бог такого не простит.

И все спорили, галдели, забыв о виновнике всей этой пресненской трагедии — генерал-губернаторе Дубасове, скорчившемся в своем инвалидном кресле, одетом в парадный мундир с эполетами и регалиями, пропахший мочой инвалидного недержания.

Якову Костомарову запомнилась реплика чернобородого красавца демонической внешности — сына промотавшегося на скачках купца Брюсова. Парня звали Валерий, и он издавал на отцовские деньги литературный журнал и писал недурные стишки.

Так вот он изрек печально:

Какая тоска настала в России...

Сказал, вроде никому не адресуя, но многие запомнили и согласились.

Какая же тоска настала в России... Господи ты боже мой...

Около полудня Яков Костомаров наконец выпил крепкого кофе и начал неторопливо одеваться, чтобы ехать завтракать в ресторан «Славянский базар», где у него была назначена встреча с Семеном Брошевым.

В «Славянский базар» приезжали часам к двум обычно именно завтракать. Обеды и ужины были не популярны. А вот завтраки затягивались порой допоздна.

Яков Костомаров облачился в новую суконную пару из черной шерсти, надел английское коричневое пальто, котелок. В Безымянном переулке его уже ждала пролетка.

В эту зиму снег сначала выпал обильно, но затем наступила оттепель и все растаяло. И теперь — везде лишь обледенелая булыжная мостовая и дощатые тротуары. И ни одного сугроба.

И вороны орут как больные, кружась над ручьем Золотой Рожок, над старыми липами и ветлами Вороньей улицы. Вороны тут испокон веков. А когда появилась фабрика и на Яузе возвели бараки, куда свозили падаль и туши скота, чтобы варить из них мыло, то и ворон расплодилось еще больше. Они гадили на деревьях и церковных куполах. И никто не мог ничего с этим поделать.

Яков Костомаров ехал через Таганку, через улицы, где жили старoverы, мимо деревянных и каменных домов, церквей, лавок и магазинов. Тут все знакомое и родное с детства. Мясники с Таганки пудами поставляли для фабрики бараний и говяжий жир. А также кости, копыта и прочее, все, что шло потом в варочный котел, в щелок, в мыльное производство.

Пролетка подсакивала на булыжной мостовой, лошадь бежала резво. Яков Костомаров из экономии не держал собственный выезд и рысаков. Это все понты, ненужные расходы. В Москве достаточно пролетки, извозчики на каждом шагу, в центре трамваи.

Он вдыхал стылый холодный воздух полной грудью. Эх, Москва, болтай — разговаривай... Звучи, пахни...

Придумать бы такой универсальный аромат для этого шумного, многоликого, изменчивого как мираж города! Абсолютно универсальный аромат — и для дам, и для господ, и для дома, чтобы выпускать не только духи, но и саше душистые для шкафов, сундуков, постельного белья. Чтобы озонировать воздух. Чтобы удалить разом все неприятные раздражающие запахи — канализации, ее отсутствия, вонь дощатых уборных на задних дворах московских мещанских домов, вонь кабацкого перегара, вонь жженого угля, немых мужицких тел, вонь дегтя, вонь прелых портянок, вонь ила на заболоченных берегах Яузы, вонь чада домен завода Гужона.

Ведь недаром же он учился во Франции на парфюмера, а до этого столько лет химии! Ведь он дипломированный парфюмер! Он хозяин фабрики, гордо именуемой «Товарищество провизора Костомарова». Его отец был действительно провизором, пока не разбогател на мыле от перхоти. Его брат был химиком и энтузиастом промышленного производства. А он — Яков Костома-

ров — парфюмер по образованию. И у него свои рецепты парфюмерии. Для всего. И для фабрики, и для жизни.

Придумать бы такой аромат... божественный, совершенный, уникальный! И назвать его... ну, типа, как у конкурентов было, у Брокара, — «Букет Плевны», или как агенты-осведомители доносят, что у Ралле колдуют над созданием какого-то там «Любимого букета императрицы». опередить их всех и сделать свое, костомаровское. Духи «Букет Москвы»!

Вот именно — «Букет Москвы».

И чтобы включал он все самое прекрасное, что он так любит с детства — аромат зимнего утра, свежего и чистого, аромат антоновских яблок по осени, аромат подмосковных ландышей, аромат взрезанного арбуза, аромат шоколада, и ванили, и корицы, и...

Они совершенно не сочетаются, как это совместить?

Основа должна быть лавандовой. Только тогда духи будут иметь успех. И мыло, и крем, и пудра, и все остальное. Полный косметический набор от фабрики Костомарова.

Пролетка взбиралась на горки горбатых таганских переулков, копыта лошади скользили по обледенелой мостовой.

Яков Костомаров грезил о своем изобретении, об аромате «Букет Москвы».

А на улице Солянке, которой они достигли, пахло конским навозом и дымом из печных труб.

В ресторан «Славянский базар» он опоздал. Стол в приватном кабинете уже накрыли по его заказу на двоих. Но Семена Брошева в кабинете не было. Яков разделся, глянул на часы-брегет. Что же это Сеня-то?.. Еще раздумает... Нет, это невозможно, они столько раз

уже говорили, он твердо решил. Но ведь может испугаться. Это все же не так просто — это кровь и боль. И стыд. Дать от себя отрезать кусок.

Это же такая адская боль. Яков Костомаров заказал у официанта графин коньяка — полный, тот самый знаменитый графин «с журавлями». На хрустале выгравированы летящие журавли и залиты позолотой. По таким графинам в «Славянском базаре» отсчитывали счастливые часы. Если что, он потом добавит Семену Брошеву в коньяк настойку лауданума — опия. А уже после всего накачает его до самых глаз морфием. Это умерит боль.

По длинному коридору, разделяющему приватные кабинеты, сновали официанты в черных фраках и белых манишках. Из банкетного зала доносился шум-гам. Там гудели голоса.

Яков Костомаров вышел в коридор и увидел, что белые двери большого банкетного зала, словно вылепленного из снежного бисквита, распахнуты настежь.

За большим банкетным столом — уйма народа. В «Славянском базаре» гуляли черносотенцы. Яков Костомаров сразу это понял — некоторых он узнал. Кого-то прежде видел лично, других — в газетах на снимках.

«Союз русского народа» и «Союз Михаила Архангела», забыв распри, давали завтрак-банкет в честь освобождения из тюрьмы мещанина Михалина — убийцы Николая Баумана.

Все это было еще так свежо в памяти из газет, освещавших и само громкое убийство, и процесс. Яков Костомаров увидел Михалина — шуплый, с сальными волосами, одетый в новую поддевку, косоворотку и бархатную жилетку, он сидел во главе стола, на почетном месте рядом с протоиереем Иоанном Восторговым.

Вот он встал с рюмкой водки в руке, явно робея, ободряемый союзниками и архангеловцами. То была

разношерстная компания, надо заметить, вполне приличные господа, хорошо одетые, в тройках английского сукна, и рядом какие-то звероподобного вида «якобы казаки» — в алых черкесках с газырями, с обвислыми усами, краснорожие. Другие явно из мещанскогословия, что побогаче — в поддевках, в смазных сапогах. Эти истово ели, ели так жадно, что было понятно: банкет в роскошном ресторане для них — невидаль великая. И они благодарны только за то, что их сюда пригласили пожать.

— Я... это... я весь полон чувств-с! Я благодарствую, — возвестил, взмахивая рюмкой, Михалин-убийца. — Благодарствую вам, господа хорошие, что не бросили меня гнить в тюрьме, выручили! А я ведь это... с полным почтением... то есть с полным воодушевлением тогда, из лучших чувств, из патриотических побуждений. Он же, этот Бауман... смутьян проклятый, на бунт народ подбивал тогда! Я как увидел его там, в пролетке, со знаменем-то красным, он что-то кричит, агитирует. И народ к нему льнет, слушает его антигосударственные речи. Так я взял трубу железную... И вот вам крест святой, — он воздел над сальной головой рюмку, — не колебался я тогда и не страшился! А каааак звезданул его по башке!

В банкетном зале, полном гостей, повисла мгновенная тишина. Даже вилки стучать перестали о фарфор.

— Вдарил с оттягом! — воскликнул Михалин вдохновенно. — Хрясь его по башке-то! Кровищи, кровищи! А он навзничь с пролетки-то. А я его еще раз, и еще, и еще, и еще. — Он рубил воздух ладонью, словно убивал Николая Баумана снова, здесь, за столом. — Так и брызнули его мозги на мостовую-то. И такая радость во мне взыграла в тот миг, такая радость светлая! Словно ангелы вострубили на небесах...

— И поделом бунтовщику! — заревел один из казаков.

— Урррряя! — фальцетом подхватил кто-то из одетых в поддевки и смазные сапоги.

— Мммммммля!

Словно бык промычал. Но это подал глас свой блаженненький Митенька Козельский, тоже приглашенный, но сидящий на отшибе, на самом дальнем конце стола, у открытых дверей.

Потому и двери в банкетный зал ресторана не закрывали официанты — Митенька Козельский, весь в репьях и засаленном тряпье, вонял немилосердно. Но его терпели в надежде — а вдруг пророчествовать начнет? Если же калом станет кидаться, как на паперти, то сразу же выведут!

— Здоровье господина Михалина! Побольше бы нам таких в наши ряды! — возгласил с энтузиазмом представитель «Союза русского народа».

— Он, между прочим, в нашей организации состоит! — тут же парировал некто из «Союза Михаила Архангела». — Вы своих героев имейте, не черта к нам примазываться!

— А никто и не примазывается! — обидчиво вскипели на противоположном конце стола. — Вы вообще... вы с тратами лучше разберитесь и с воровством!

— Каким таким воровством?

— А таким, о котором вопрос на заседании Думы поднимался нашим председателем Дубровиным!

— Да ваш Дубровин никто, выскочка, самозванец!

— Это ваш засранный Пуришкевич самозванец! Он деньги присвоил — это все знают. Департаментом деньги были выделены на борьбу с революцией, с либерализмом. Кинулись считать, а в кассе нет ни копейки. Пуришкевич все по карманам своим рассовал!

— Это Дубровин ваш вор, воруга! Казнокрад!
— Господа, вы слышали? Этот хам нас оскорбляет!
— В морду за оскорбление!
— Ххххххамы! — заревел кто-то в алой черкеске, вскакивая из-за стола.

— Сами такие!

— Да я сейчас твою морду!.. твою мать...

— Господа! Господа! — надрывался протоиерей Иоанн Восторгов, похожий на ослепленную светом бородастую сову — тучный, в черной рясе, покрытой жирными пятнами от жаркого. — Держите себя в руках! Прекратите свару!

— Ххххххамы!

— В морррррду!

— Господа, гимн, гимн! — Протоиерей Иоанн Восторгов вскочил на ноги. — Как в Думе, как в едином порыве — гимн, господа! Бооооооже, царяяяя храниииии...

— Бооооооже, царяяяя храниииии...

— Ххххххамы!

— Сиииииильный держаавный... цаааарствууууу над наааами...

— Слова перевираете!

— Бооооооже, царяяяя храниииии...

Спели гимн хором.

— Здоровье его императорского величества!

Выпили обоюдно.

— А я хряясь по башке! — снова пьяно-ликующе возгласил убийца Михалин. — А он брык с пролетки-то, кровящи... И такая радость во мне...

— А вы рот нам все равно не заткнете, воры, предатели! И Пуришкевич ваш — жидомасон!

— Сам ты предатель! Сам ты жидомасон!

— В морду за такие слова!

— Стреляться! Я вас вызываю — тут же через платок!
— Да я тебя сейчас расплющу!

Звон хрусталя. Грохот тарелок, падающих на пол. Сначала двое, вскочив из-за стола, схватились за грудки. И вот уже четверо, шестеро — союзники против архангеловцев, и пошло-поехало!

В банкетном зале началась безобразная драка. Официанты метались по коридору, уклоняясь от летевшей из дверей зала посуды, и орали, чтобы немедленно вызвали полицию.

— Ужас... Что тут происходит?! И тут насилие?

В коридоре, точно фантом, возник давно ожидаемый Семен Брошев — в клетчатом костюме, в легкой, не по московской зиме накидке, чем-то неуловимо смахивающий на юродивого и одновременно на князя Мышкина. Белесый, невзрачный и такой светлоглазый, такой тихий.

— Яша... я всю ночь думал, не спал... Я что-то боюсь. И я не знаю, как сказать обо всем об этом Серафиме... Ой, а почему они тут все дерутся?

Черносотенцы сворачивали друг другу скулы, по залу летала посуда, стулья. Протоиерей Иоанн Восторгов кричал, чтобы прекратили, его никто не слушал. Митенька Козельский, уписывая пироги, восторженно мычал и пускал слюни, любуясь баталией.

— Почему они дерутся? — спросил Семен Брошев Якова Костомарова.

Тот сначала не ответил. А что тут скажешь? Вспомнил, как однажды, примерно в таких же вот обстоятельствах гражданской свары, спросил его купец Третьяков, мрачно попыхивая гаванской сигарой:

— *Что делать нам, предпринимателям, купечеству в этом бедламе?*

Тут дверь приватного кабинета напротив распахнулась, и они увидели своих соседей — тоже накрытый

стол, на нем тоже два графина с коньяком и с «журавлями», но уже пустых, и один полный.

Два господина — настоящих красавца, раскинув широко руки, стояли посреди кабинета. Яков Костомаров их узнал моментально, потому что встречал в этом ресторане частенько.

Оба корифеи Московского Художественного театра. И не просто корифеи, но и основатели. Один — отпрыск купцов Алексеевых, взявший себе звучную сценическую фамилию, — высокий пышноволосый красавец в пенсне на шелковой ленте.

Другой — красавец в английской тройке, кудрявый ухарь с аккуратной бородкой.

Видимо, уже напившись вдрызг, они играли в «журавлей», вперяясь взглядами в пустые хрустальные графины.

— Курлы, курлы, полетели! Ах, белые березки... Хочу туда, где березки! — восклицал корифей в пенсне. — Володенька, полетели?

— Костенька, айда, мы же энергичные люди! Курлы, курлы!

Они маленьким сплоченным клином кружили по кабинету, норовя выскочить в коридор, полный бушующей кабацкой стихии.

Но как раз в этот момент к ним самим заскочил некто в алой черкеске с газырями — лысый, потный, расхристанный в драке, пьяный.

Секунду он пялился мутным взором на корифеев Художественного театра, изображавших «журавлей», а потом рывкнул:

— А по сусалам?!

Корифеи замерли. Тот, что в пенсне, гордо вскинул голову, явно желая ответить черносотенцу, но товарищ ухватил его за пиджак:

— Костя, Константин Сергеевич, я тебя умоляю, не связывайся! Оставь.

На улице Никольской уже свистели городовые. И вот передовой отряд полиции ворвался в ресторан и кинулся разнимать дерущихся.

Яков Костомаров с минуту созерцал и это поучительное зрелище. Черносотенцы пытались бить и полицию тоже, но она им этого не позволила. И вскоре вместо матерного рева зазвучали негодующие голоса:

— Да как вы смеете?! Я патриот, а вы — рукоприкладство... Ой, за что меня-то, я вообще ничего, это меня били, я потерпевший! Вы полиция или кто? Мы истинные патриоты, а вы нас в кутузку? Это полицейский произвол! Сатрапы!

— Полицейские сатрапы! Охранка! — завизжал кто-то из «Союза Михаила Архангела».

— Совсем распоясались! Жандармы! — это кричали уже в «Союзе русского народа», те, которых городовые волокли в участок.

— И революционеры то же самое полиции на митингах кричат, — наивно заметил Семен Брошев. — Так в чем же разница? Где во всем этом смысл?

Яков Костомаров закрыл дверь кабинета, отсекая от себя с Брошевым драку, черносотенцев, городских, корифеев Московского Художественного.

Они сели за накрытый стол.

— Тебе лучше выпить коньяка, Сеня, — сказал Яков Костомаров. — У нас впереди многотрудная ночь. И лучше тебе выпить, расслабиться.

Они сидели в «Славянском базаре» долго, завтрак затянулся до самых сумерек. В белом бисквитном зале давно все утихло, полиция навела порядок, черносотенцы подались восвояси, лакеи собрали осколки посуды с паркетного пола, вымели сор, унесли остатки

еды на кухню. Украдкой от метрдотеля допивали вино из бутылок и бокалов.

Белый зал закрыли, жизнь ресторана вошла в обычную колею. А Яков Костомаров все вел задушевную беседу с Семеном Брошевым, подталкивая, подводя его, как сазана подводят уточкой под сачок, к последнему решающему шагу.

Корабль...

Они оба говорили о нем.

И еще о белых голубях.

— Я хочу, я решил, я сделаю, — твердил Семен Брошев дрожащими губами. — Вот так разом освободиться от всего — от вожделения, от страстей, от этого внутреннего жара, что беспокоит меня и не дает достичь полного совершенства, идеала, к которому я стремлюсь. Я жажду чистоты и покоя. Но я не знаю, как сказать об этом Серафиме. И как вообще с ней быть после того, как все произойдет. Она и так уже догадывается. И она меня пугает. Она такая решительная, непримиримая. И Адель... Адель на нее влияет, я говорил тебе.

Серафима Козлова — невеста Брошева из богатых купцов с Полянки — рано потеряла и мать, и отца. В приданое ей по завещанию доставался миллион с условием, что она выйдет замуж за Семена Брошева. Их еще в отрочестве «сговорили» родители. Серафима вкусила все прелести богатой самостоятельной жизни — ездила в Париж и Женеву. В Париже простаивала ночами у театра, надеясь узреть своего кумира Сару Бернар. А в Женеве училась на курсах при университете. Там она познакомилась с Аделью Астаховой — барышней еще более решительной, яркой феминисткой. И по возвращении в Москву они были неразлучны.

Семена Брошева Серафима опекала, относилась к нему не как к жениху, а как к малому ребенку. Она

была нежна с ним и снисходительна. А он то впадал в тяжелую депрессию, то вновь и вновь искал духовный путь. Они вот уже два года откладывали свадьбу.

Яков Костомаров подозревал, что все Сенины сентенции насчет воздержания и чистоты — плод его импотенции, в которой он стыдился признаться не только невесте, но и самому себе.

Тогда какая разница ему? Стать «белым голубем» в такой ситуации даже предпочтительно. Ну, возможно, это слишком радикальный путь, однако...

У Брошева рудники, фабрика, за ним банк, и это такое подспорье Кораблю в нынешние непростые времена! Если он примкнет к «белым голубям» плотски, эту связь уже будет не разорвать. И община воспользуется его капиталом. Ради расширения производства фабрика «Товарищество провизора Костомарова», не задумываясь, запустит жадные руки в брошевские деньги.

На один проект нового аромата «Букет Москвы» уйдет уйма средств. Потому что любое совершенство — дело недешевое, и сначала деньги надо вложить, чтобы потом иметь прибыль.

Это и господин Маркс говорил. Яков Костомаров в свое время почитывал «Капитал» на немецком. И почерпнул там для себя немало экономически полезных советов относительно прибавочной стоимости.

Но в одном он с Марксом категорически расходился. В вопросах социального мироустройства.

Впрочем, с правительством он в этих вопросах расходился не менее кардинально. После событий пятого года в патологическом страхе перед революцией правительство занялось пропагандой и кастрацией мозгов населения через прессу, газеты, путем вдалбливания набивших оскомину истин типа «самодержавия, православия, народности». Все это была такая чепуха! Народ

поначалу слушал, потом тупел, а потом начинал озлобляться. И эта злоба клокотала глубоко внутри, в самой толще и гуще масс, куда не достигали истерические филиппики журналистов-пропагандистов.

Яков Костомаров — купец и потомок мещанина-провизора — видел это и понимал. Сам он наблюдал народ на своей фабрике и на соседнем заводе — Гужона. Там можно было многое увидеть и понять.

Эта злоба, эта отчаянная жажда справедливости, это вожделение и зависть, эта ярость — все это плотские страсти. И никакая пропаганда с ними ничего поделать не могла. У мужиков кипела кровь, чесались, распухали яйца. И они начинали меряться друг перед другом, у кого эти яйца круче.

А вот «белые голуби» яйца себе отрезали. И делались такие тихие, кроткие, послушные, покорные. Обожали копить деньги, работали как заводные.

Вот Антипушка — кормчий Корабля — всегда приводил притчу насчет животного мира, как оно в природе — быки, мол, бодаются, бараны тоже, петухи дерутся. Алиши их мужского естества, и получают волы, валухи покорные, что влекут себе рабочее ярмо и не ропшут. Живут лишь для себя, не обременяясь ни потомством, ни долгами, ни страстями, ни скандалами.

Аки голуби безгрешные...

Антипушка Кормчий появился на фабрике еще при жизни старшего брата — просто захаживал, проповедовал свое. Брат Иннокентий ничего ему не позволял, вообще считал изувером.

А вот Яков после восстания на Красной Пресне, после всех этих трупов и расстрелов, после бунта и тупой апатии, окутавшей Москву, словно серая вата, решил дать Антипушке-кормчему сыграть на фабрике свою роль.

Антипушка привел своих единомышленников — здорового как медведь Онуфрия из сибирского Корабля и умного и сведущего в технике Федосея Сулова. Сулова Яков Костомаров сделал старшим приказчиком. Несколько месяцев наблюдал его — сгорбленный, безбородый, улыбчивый, кроткий, он начал увольнять рабочих и набирать кое-кого из своих.

И вот спустя два года на фабрике из двадцати девяти человек рабочего персонала — одиннадцать «белых голубей», убежденных. Двенадцать — все еще живущих в браке, но чутко внимающих проповеди кормчего и участвующих в радениях. Остальные, как всегда, колеблются. С одной стороны, привлекает соблазн денег, которые сулят за вступление в Корабль. С другой стороны, стыд и боязнь боли.

И есть еще молоденький дурачок из формовочного цеха, не убежденный по-настоящему, но перетянувший себе половые органы просмоленной бечевкой и похваляющийся этим, словно подвигом умерщвления плоти.

И тишь да гладь на фабрике все эти два года. Никаких там петиций, стачек, требований повысить заработок. Вот что значит — секта, вот что значит община.

Скопцы — это сила. И сила эта в самой их слабости и фанатизме, с которым они работают и живут. А живут лишь для того, чтобы работать и копить деньги, а еще сладко, вкусно есть, не позволяя себе при этом тонуть в пучине пьянства. Потому что отрезанные яйца и член, видно, и на это тоже мужское пристрастие влияют. Среди «белых голубей» — скопцов горьких пьяниц не водится. И это факт.

К концу застолья Семен Брошев совсем размяк. Он пил коньяк, и Яков этому не препятствовал, подливал незаметно еще и настойку опия. Лицо Броше-

ва побледнело, покрылось капельками пота. Светлые глаза казались темными как ночь от расширенных зрачков.

Он все еще что-то с жаром молот про «чистоту и свое решение остаться чистым, незапятнанным, как в физическом плане, так и духовном».

А Яков Костомаров все больше убеждался, что перед ним импотент, боящийся не только физической близости с решительной и красивой невестой, не только супружества, но и жизни вообще — борьбы, насилия, лжи, правды, счастья, беды, удовольствий и потерь. Всего того, что он именовал «страстями».

Лучше убелиться и стать чистым.

Нет, кротким, апатичным, как вол в ярме.

Нет, как белый голубь.

Скопцы никогда не требовали у Якова Костомарова, чтобы он сам примкнул к ним, убелился. Они понимали границы дозволенного. Он бы и Сеню Брошева на это сам не стал подбивать, однако тот высказал определенные намерения. Грех было этими намерениями не воспользоваться ради того, чтобы Корабль-фабрика получил брошевские деньги и рудники, а также фармацевтические разработки.

— Но как же быть с Серафимой? — ныл Брошев. — Она же все равно узнает, этого же не скроешь. А свадьба?.. Она не получит наследства, если не выйдет за меня. И я думаю, она выйдет, и я... Я не в силах ей отказать. Мы поженимся.

— И станете жить как брат с сестрой. Без греха. Помнишь, что Антип-Кормчий тебе говорил? Это счастье, это радость, это духовное единение. Дух, ты же дух освобождаешь этим актом, Сеня, а плоть, плоть — она заживет.

— А это очень больно? — тревожно спросил Брошев.

— Это больно какой-то миг. Потом они тебя пере-
вяжут, а я сделаю укол. И мы станем тебя выхаживать.
Заботиться о тебе. Столько любви ты испытываешь!

— Правда? — Брошев ословело моргал. — Я хочу
любви, я так одинок. А Серафима — она холодная, на-
смешливая. Они такие передовые с Аделью! Постоянно
какие-то собрания, кружки, благотворительность. Вся
эта суэта, пустота... Я так устал...

— Тебе сразу станет легче. — Тут Яков Костомаров
лгал. — Ну что ж, надо ехать. Пора. Там все уже готовят.

— Ехать? Уже? Ох, я что-то боюсь.

— Ничего не бойся. Я с тобой.

— У меня странное предчувствие...

— Это естественно. Быть человеком, а стать «белым
голубем», свободным для полета.

— Да, это так, это полет души туда. — Брошев мах-
нул вяло рукой в сторону белой стены ресторана. — Но
ты знаешь, мне кажется, Серафима о чем-то догадыва-
ется. Она следит за мной.

В ресторане Яков Костомаров не придавал значения
этим его словам. Просто подлил ему еще опия в кофе.

В пролетке, когда они ехали в Безымянный пере-
улок, Семен Брошев под воздействием коньяка и нар-
котика уже был никакой.

Он не замечал ничего: ни сырых сумерек, ни све-
та газовых фонарей, ни ярких витрин на Солянке. Не
слышал граммофона из открытых дверей трактира:
«Паццалуем дай забвень»...

Не ощущал холодного пронизывающего ветра. Он
вперялся в пустоту остекленевшим от опия взглядом
и лишь плотнее прижимался к Якову Костомарову,
обнимавшему его в пролетке за талию.

В Безымянном переулке их уже ждали. Здоровен-
ный Онуфрий в ливрее, стоявший на страже у подъез-

да костомаровского особняка, подхватил Брошева под мышки из пролетки и по знаку Якова Костомарова повел в дом — готовить к таинству.

Радение «белых голубей» в эту ночь обещало быть зрелищем не для слабонервных.

Семена Брошева сначала устроили в кабинете. Затем повели в специальную комнату при конторе фабрики. Там уже был застелен чистыми простынями диван, стояли ширмы. За ширмами на столе Яков Костомаров подготовил саквояж провизора. Там хранились морфий, шприцы, спиртовка и много перевязочных средств.

Во время убеления все должно было произойти по традиции — как принято у скопцов и при этом не слишком стерильно. Но затем Яков Костомаров планировал оказать Семену Брошеву полноценную медицинскую помощь. Имелся наготове и знакомый врач, которому он щедро платил. Естественно, ни о какой поездке в больницу и речи не было.

Брошев остался на попечении Онуфрия и приказчика Федосея Сулова. А Яков Костомаров вернулся в дом.

Хотелось покоя и музыки хотя бы на час. Вдова брата, перед тем как уложить детей спать, всегда музицировала в гостиной на рояле. Она хорошо играла, и дети при этом всегда присутствовали — девочку приводила гувернантка, а малыша приносила нянька Маревна, и они сидели в креслах. Двухлетка мальчуган тарасился на рояль, на яркие лампы, однако сидел на руках няньки тихо и никогда не плакал.

Яков Костомаров устроился в кресле и тоже слушал — вдова брата играла Шуберта.

Яков закрыл глаза, весь отдаваясь мелодии. Скоро, скоро их Корабль, обгаренный кровью нового убелен-

ного, поплывет в землю обетованную. Мужики в это верят. Кормчий Антипушка умеет уговаривать — ласково, проникновенно. Мол, все несчастья на свете от «лепости злой», от страстей, от тела греховного, от жара в чреслах — похоть рождает вожделение, а вожделение — зависть и жажду перемен, и жадность, и ревность. А кто убелился — тот очистился и стал свободен от плоти своей.

Это одна проповедь. Тем, кто не очень в это верил, предлагалась кормчим проповедь другая — вот мы не женимся, оттого и богаты. Живем для себя, деньги у нас водятся. Пусть смеются над нами, обзывают скопцами. А за деньгами-то к кому идут, если банк в ссуде отказал? К нам, к скопцам, к ростовщикам. Сделаетесь как мы, и у вас деньги заведутся. Перестанете на фабрике, как простые, горб ломать, будете ссужать народ деньгами, купоны стричь. Спать на мягкой перине, вкусно есть. В Евангелии от Матфея-то не зря сказано, что есть скопцы, которые сами себя сделали скопцами для Царствия небесного. А что евангелист одобрял, то, значит, хорошее дело, а?

Яков Костомаров слушал Шуберта и твердил себе: я так поступаю потому, что хочу сохранить фабрику и улучшить, расширить свое дело. Сердце брата не выдержало социальных потрясений, и я их тоже не хочу. После того, что мы видели и пережили, что нам делать? Что делать мне, оставшемуся одному как перст в этом мире, с фабрикой — нашим детищем на руках? *Что мне делать? Возненавидеть царя и Думу, как жандармский ротмистр Саблин, ставший убийцей? Или примкнуть к обезьянам в их обезьяньих черносотенных союзах? Уехать за границу, эмигрировать? Но фабрика здесь, все мое здесь. Я хочу не так уж много, поверьте!* Я хочу, чтобы на моей фабрике не было волнений

и стачек. Чтобы мужики трудились и не кипели злобой на меня и мою семью, а были довольны. Сколько бы ни поднимал я им зарплату, они все равно не станут жить так, как я. Это невозможно. Значит, рецепт должен быть другим. И мой рецепт таков: община на фабрике, сплоченная секта скопцов.

И пусть Корабль плывет по своему пути.

И пусть вдова брата играет Шуберта каждый вечер.

И дети-племянники пусть смеются и растут в довольстве и счастье.

И пусть фабрика работает и процветает.

И я создам, непременно создам аромат «Букет Москвы» и вмещу в него все.

И это тоже.

И сладость, и горечь. И счастье, и боль.

После музыки он поцеловал вдову брата в щеку, поблагодарил и пожелал ей спокойной ночи.

Немножко еще посидел в кабинете при выключенном свете, наблюдая из окна, как по темному двору темными тенями проскальзывают в здание склада «белые голуби».

Затем спустился вниз и через черный ход, через сад, через калитку, через фабричный двор — окольным длинным путем, чтобы его не видели рабочие, — сам направился в сторону склада.

Он вошел в пристройку и остановился перед закрытой деревянной дверью. В дверь был вделан «глазок» — чудо немецкой оптики. И Яков Костомаров прильнул к нему.

Помещение склада тускло освещали керосиновые лампы. Каменный пол был устлан свежей соломой. На этом складе хранились природные компоненты для мыла и кремов, поступавшие в контейнерах по железной дороге из-за границы. В контейнерах и брикетах

хранились розовые лепестки, сухие травы и цветы из Грасса, лавр, мирт, душица, масло из оливо и виноградных косточек, апельсиновая цедра, сандал, благовония и много чего еще.

На складе витал тонкий аромат и атмосфера была особой, поэтому Яков разрешил проводить радения именно в этом месте. А еще здесь была дверь с потайным глазком, дававшим ему возможность видеть все тайком, не присутствуя на борту своего Корабля.

На радение собрались около двадцати человек. Женщин среди них — всего шесть. Все в белых рубашках из льна с широкими свободными рукавами. «Белые голуби», они сначала окружили кормчего Антипушку. Он стоял просто, опершись на клюку, и что-то тихо говорил. Потом все громче, громче.

Чудо чудесное... Готовимся принять нового брата. Но сначала надо очистить мысли и сердца.

Голос у него — ласковый и дребезжащий. Таким говорят очень старые мудрые люди. Но у Якова Костомарова отчего-то всегда ползли по спине мурашки, когда он слышал кормчего Антипушку.

«Белые голуби» негромко запели — ходили за три моря, летали за три моря... искали, искали... Голуби божьи, голуби святые...

Они словно пели колыбельную самим себе. И в этот момент кто-то — кажется, придурковатый паренек с перетянутыми веревкой чреслами — зажег в углу склада небольшую жаровню и начал накаливать на ней некие предметы.

Бритву и нож, очищая их огнем.

«Белые голуби» встали друг за другом и, тихонько топоча босыми ногами, двинулись по кругу. Как корифеи Московского Художественного, спьяну изображавшие журавлей.

Летали за три моря... кружили над землею... смотрели, постигали, знали, учили, радели на славу...

Их голоса звучали все громче, а кружиться они начинали все быстрее.

Тут двое из них внесли в склад ворох чистых тряпок, бутылку с оливковым маслом. И потом, пропав на мгновение в сумраке и снова возникнув, они втащили железное корыто, полное свежего навоза.

Запах дерьма примешивался к ароматам сухих трав и цветов. Яков Костомаров чувствовал его сквозь щели в двери, в стенах склада. И у него снова запершило в горле. Он ощутил, как у него разом взмокла спина и вспотели ладони.

Белые голуби, пух голубиный... пух безгрешный... страсти людские, моря житейского лодка наша, крепкий корабль...

Фигуры в белом кружились волчком — круг распался, и теперь каждый вертелся сам по себе, по заданному бешеному ритму. Просторные рубахи надувались парусами. Скопцы воздевали руки к потолку и пели, а потом просто хрипели, кричали в радостном возбуждении. Кто-то, не выдержав ритма, упал на солону и забился в судорогах. Другие понемногу сбавляли темп. И вот почти все остановились — потные, дышащие, как запаленные лошади. Их лица были бледны, но они улыбались, потому что верчение изгнало из них, как им казалось, «злую лепость», и они были чисты и готовы принять в свою стаю нового «голубя».

И он должен был впорхнуть вот-вот...

И он «впорхнул».

Онуфрий и приказчик Суслов — оба в белых рубахах, босые — ввели в центр круга Семена Брошева. Он еле плелся на подгибающихся ногах. И они поддержи-